

Аноним

**На ножах со всем
существующим,
его защитниками и
ложными критиками**

Оглавление

I.	3
II.	4
III.	7
IV.	9
V.	11
VI.	13
VII.	16
VIII.	18
IX.	18

I.

Каждый может положить конец собственному рабству и отказаться от мешанины пустых слов, чтобы оказаться в конце концов на ножах с жизнью.

— К. Микельштедтер

Существование — не более, чем вечный поиск того, за что бы ухватиться. Вы встаёте утром, чтобы обнаружить себя в постели несколькими часами позже: грустный маятник между нехваткой желания и усталостью. Время проходит, пришпоривая вас всё меньше и меньше. Кажется, социальные обязанности уже не гнут вашу спину, настолько вы привыкли к их тяжести. Вы подчиняетесь, даже не утруждая себя словом «да». Жизнь падает в объятия смерти, как сказал поэт по несколько иному поводу.

Вы можете жить без страстей и порывов — вот величайшая свобода, дарованная вам обществом. Вы можете беспрестанно болтать о предметах, совершенно вам незнакомых. Вы можете выразить любое мнение, даже самое «дерзкое» — и спрятаться за собственным бормотанием. Вы можете голосовать за кандидата, которого вам навязали, и гордиться собственным «выбором». Вы можете переключать каналы всякий раз, когда вам кажется, что вас оболванивают. Вы можете время от времени развлекаться, пересекая печально однообразные пространства со всё возрастающей скоростью. Вы можете воображать себе молодым сорвиголовой — до тех пор, пока вас не вызвал по телефону босс. Вы можете жениться до бесконечности — так свят институт брака. Вы можете представить себя независимым и бунтующим автором — и издатели будут целовать вас в обе щеки. Вы можете делать политику на любой манер — даже ссылаясь на экзотических партизанских вождей. Ну а если вам не позволили главенствовать — что ж, вы можете упражняться в послушании. Повиновение создаст из вас мученика — а это общество, несмотря на все ограничения, по-прежнему нуждается в героях.

Ваша глупость, разумеется, ничем не позорнее, чем глупость всех остальных. Не имеет значения, если вы не можете решиться — другие решат за вас. В любом случае вы — невинное гражданское лицо, как вещают на своём жаргоне политики. Недостатка в оправданиях не будет, особенно в мире тех, кто не смеет бороться.

На грандиозной ярмарке ролей вы, безусловно, имеете одного верного союзника — деньги. Демократичные *par excellence*, они никого не уважают в особенности. При их наличии ни один товар или услуга не покажут вам спину. Разумеется, этот союзник никогда не даёт достаточно и, более того, — отдаётся всем. Впрочем, иерархия денег — особая вещь, посрамляющая законы, принятые в «добром старом обществе». Когда деньги в наличии, вы всегда правы. Ну а когда их нет, вы имеете множество смягчающих обстоятельств.

В любом случае, чуть поупражнявшись, вы можете целый день провести без единой идеи. Ежедневная рутина думает за вас. Дом, служба, пиво, телевизор, кровать, служба, футбол — жизнь прокручивается в режиме выживания. Всегда найдётся то, за что можно ухватиться. Самая одуряющая характеристика сегодняшнего общества — его способность утверждать «комфорт» на волосок от катастрофы. Экономика и технологическое администрирование проворачиваются со сногшибательной бездумностью. Общество скользит от очередного массового развлечения к следующему грандиозному кровопролитию с дисциплинированным бесчувствием запрограммированных кретинов. Продажа и покупка смерти — самый доходный бизнес. Риск и дерзкое усилие более не существуют, в наличии лишь безопасность или бедствие, рутина или катастрофа. Убаюкан или умерщвлён. Никогда не жив.

Слегка попрактиковавшись, вы можете с закрытыми глазами передвигаться из дома в школу, из офиса в супермаркет, из банка в дискотеку. Видно, пришла пора по достоинству оценить старую греческую мудрость: «Спящий тоже поддерживает мировой порядок».

Да, пора пришла. . . Но для чего? Действительно? Не для того ли, чтобы раз и навсегда отделить себя от этого общества, к которому вас причислили с самого рождения, — от общества власти и товаров, авторитета и смерти? И не только отделить, но и покончить, разделаться с этим обществом?

Одна его часть, бесконечно жадная до власти, хочет, чтобы всё продолжалось, как есть, другая же часть безусловно заинтересована в том, чтобы это общество взорвалось и сгнуло как можно скорее. Решить, на чьей вы стороне — первый необходимый шаг. Тут стоит напомнить, что колебания, переговоры, отказ от ясной позиции — обычные характеристики ложных критиков и всякого рода реформаторов — основа соглашения между сторонами, то есть основа капитуляции и провала проекта революции. В то время как обещание подлинного изменения — в нашей твёрдости, дерзости и решительности, как, впрочем, и в нашей ежедневной способности атаковать.

Да, нужно оказаться на ножах с собственной уступчивостью, усталостью и бессилием, а уж затем — на ножах со всем существующим.

II.

Только в процессе делания ты начинаешь понимать вещи, которые должны быть сделаны, чтобы быть понятыми. Таким образом, чтобы изучить что-либо, лучше всего это сделать, а не изучать.

— Аристотель

Секрет заключается в том, чтобы действительно начать.

Существующая социальная организация не только откладывает, но и препятствует, а также и коррумпирует всякую практику свободы. Единственный

способ понять, что такое свобода, — это испытать её, а для этого нужны необходимые *время и пространство*.

Фундаментальной предпосылкой свободного действия является диалог. При этом любой аутентичный дискурс исходит из двух условий: 1. подлинный интерес к вопросам, которые выносятся на обсуждение (проблема содержания) и 2. свободный поиск возможных ответов (проблема метода). Оба эти условия должны включаться в одно и то же время, ведь содержание определяет метод, и наоборот. О свободе можно говорить только будучи свободным. Какой смысл задавать вопросы, если ты не свободен отвечать на них? Какой смысл отвечать, если вопросы ложны? Диалог существует только тогда, когда индивиды могут говорить друг с другом без посредничества, то есть когда они обоюдно заинтересованы. Если же дискурс односторонен, коммуникация невозможна. Если у кого-то есть власть навязывать вопросы, содержание последних будет функциональным по отношению к этой власти (и ответы будут содержать подчинение). Субъектам задают только те вопросы, ответы на которые лишь подтверждают их социальные роли, и из этих ответов боссы извлекают вопросы будущего. Рабство кроется в согласии отвечать.

В этом смысле рыночные опросы ничем не отличаются от предвыборных. Суверенность избирателя соответствует суверенности покупателя, и наоборот. Пассивность телевизионной аудитории именуется *публикой*, навязывание государственной власти называется *свободный народ*. В обоих случаях индивиды оказываются пленниками механизма, который даёт им *право* говорить лишь после того, как тот же механизм лишил их *способности* делать это. И в чём тогда смысл диалога, если всё, что ты можешь — это выбирать между двумя одинаковыми кандидатами? Что это за коммуникация, если твой единственный выбор — между двумя совершенно схожими продуктами или телевизионными программами? Содержание вопросов бессмысленно, поскольку метод ложен.

«Ничто так не напоминает представителя буржуазии, как представитель пролетариата», — писал Сорель в 1907 году. И что делает их неразличимыми — это как раз то, что они *представители*. Слишком очевидно, что правые и левые кандидаты сегодня — одно и то же. Но политикам и не нужно быть оригинальными (реклама делает это за них), им достаточно знать, как *администрировать* эту очевидность. Ирония заключается в том, что СМИ определяются как средства *коммуникации*, а избирательные дразги именуются *выборами* (что в подлинном смысле слова значит «свободное, сознательное решение»).

Всё дело в том, что власть пресекает другие способы организации. Даже если избиратели имели бы волю к ответам (а это предположение уже уводит нас в «утопию», как сказали бы *реалисты*), ничего существенного у них спросить было бы невозможно, поскольку единственно свободное действие — единственно аутентичный выбор! — который они могут совершить — не голосовать вовсе. Любой, кто голосует, соглашается с ложными вопросами, поскольку аутентичные вопросы отрицают передачу полномочий другим и

избирательную пассивность. Попытаемся объяснить это на простом примере.

Представьте себе отмену капитализма, которая была бы проведена через референдум (оставим в стороне факт, что это невозможно в контексте существующих социальных отношений). Большинство голосовало бы за капитализм — лишь потому, что будучи привязаны к своему дому, офису, банку, супермаркету, люди не способны были бы представить себе иной мир, не основанный на деньгах и товарах. Но даже если бы они голосовали против капитализма, ничто не изменилось бы, ибо, чтобы быть аутентичным, вопрос отмены капитализма *исключает* избирательные процедуры. Нельзя изменить целое общество через референдум, декрет, коммюнике или законодательство.

То же касается менее радикальных вопросов. Возьмём, к примеру, жилищную проблему. Что случилось бы, если бы население могло (и снова мы оказываемся в сфере утопии) выразить свои взгляды на организацию собственной жизни (квартир, улиц, парков и т. п.)? Ответ ясен: желания и требования людей были бы неизбежно ограничены с самого начала, поскольку «жилищная проблема» — следствие перемещения и концентрации населения согласно нуждам экономики и социального контроля. Тем не менее, попытаемся представить себе некоторые формы социальной организации, отличающиеся от этих гетто. Можно с уверенностью утверждать, что население выразило бы те же взгляды по этому вопросу, что и полиция. В противном случае (то есть когда даже ограниченная *практика* диалога стимулировала бы волю к новому жизнеустройству) это означало бы взрыв гетто. Как, при существующем социальном порядке, можно объединить желание людей дышать чистым воздухом с интересами боссов автомобильной промышленности? Как совместить свободную циркуляцию индивидов со страхами владельцев роскошных бутиков? Как оставить старые дома в руках спекулянтов недвижимостью? Что делать с кварталами, напоминающими казарменные городки? Как поступить с тюрьмами, судами, канцеляриями и полицейскими участками? Сдвинуть одну стену в этом лабиринте ужасов означало бы поставить под вопрос всю схему. Чем дальше мы отходим от полицейского взгляда на окружающую среду, тем ближе мы подходим к битве с полицией.

«Как можно свободно мыслить в тени церкви?» Эту фразу начертала чья-то рука на святых стенах Сорбонны в мае 1968 года. Что ж, этот непогрешимый вопрос имеет и более широкое значение. Всё, что было спроектировано, построено и сделано для экономических или религиозных целей, может навязывать лишь экономические и религиозные желания, и ничего более. Поруганная церковь не перестаёт быть домом бога. Товары продолжают своё лопотание в заброшенном супермаркете. Площадь перед военным ведомством хранит шаги марширующих толп. Может ли всё это остаться на своих местах в пространстве аутентичного диалога? Нет. Это и имел в виду тот, кто сказал, что разрушение Бастилии было актом прикладной социальной психологии. Бастилия никогда не могла бы стать ничем иным, кроме тюрьмы, и её стены

продолжали бы нашёптывать истории заключенных тел и желаний. Бастилия-музей? Бастилия-ресторан? Бастилия-спортзал?

Раболепие, принуждённость и скука всегда оказываются заодно с консумеризмом в бесконечных траурных церемониях капитала. Работа встраивается в социальную среду, которая воспроизводит готовность к работе. Вы наслаждаетесь вечером перед телевизором, потому что провели день в офисе и метро. Покорность на заводе превращает вопли на стадионе в обещание счастья. Чувство неуместности в школе оправдывает бесчувствие воскресной ночи в дискотеке. Лишь глаза, загорающиеся при виде Макдональдса, могут увлажниться от рекламы Харли Дэвидсон. Ну и так далее . . .

Чтобы быть свободным, надо научиться переживать свободу. Чтобы пережить свободу, нужно освободить себя.

При нынешнем социальном порядке время и пространство препятствуют переживанию свободы, потому что существующий порядок удушает свободу переживания.

III.

Тигры гнева мудрее коней послушания.

— Вильям Блейк

Как представить себе новые человеческие отношения и иную общественную среду, в которой эти отношения реализуются? Очень просто: нужно перевернуть господствующие представления о социальном пространстве и времени. Древний философ сказал: «Каждому позволено желать лишь то, что он знает». Что ж, желания меняются, если ты изменяешь жизнь, производящую желания. Пусть будет предельно ясно: бунт против организации времени и пространства властью есть материальная и психологическая необходимость. Без восстания ничего не будет.

Бакунин утверждал, что революции — на три четверти фантазии и на одну четверть реальность. Важно только осознать, где коренится фантазия, ведущая к восстанию. *Раскрепощение всех злых страстей*, как сказал русский революционер, является движущей силой подлинного социального изменения. Даже если это утверждение вызовет скептическую улыбку у усталого исследователя исторических движений, мы сказали бы (если бы не считали подобный жаргон непереносимым), что эта идея революции совершенно современна. Страсти злы, потому что они подавлены и задушены отвратительным чудовищем — нормальностью. Но страсти также злы, потому что воля к жизни, которая является их основой, превратилась под тяжестью социальных предписаний и скуки в свою противоположность — волю к смерти. Да: когда жизнь ограничивается ежедневными ритуалами выживания, она начинает отрицать себя. Отчаянно

взыскую пространства, она выставляет себя как вопиющее и пугающее присутствие, скандальное уродство, болезненный тик, идиотское, навязчивое насилие. Разве стремительное распространение психотических наркотиков — одна из последних конвульсий государства вэлфера — не является разоблачением невыносимости нынешних условий жизни? Власть постоянно администрирует своё вмешательство, чтобы оправдать свой собственный продукт — зло. Восстание берёт на себя заботу и о власти и о зле.

Если люди, борющиеся за уничтожение существующего государственного и экономического порядка, не хотят обманывать себя и других, они должны прямо взглянуть в лицо факту: подлинный мятеж — это игра диких, варварских сил. Некто сравнил эти силы с гуннами, кто-то ещё — с хулиганами; на самом же деле это — индивиды, чья ярость ещё не подавлена социальным умиротворением.

Но как создать новое сообщество на основе ярости? Не будем соблазняться вечными фокусами диалектики. Угнетённые не являются носителями позитивного проекта, будь то бесклассовое общество (подозрительно напоминающее продуктивистские мифы) или примитивистский рай. Капитал — их единственное сообщество. И поэтому восстание — разрушение всего, что делает нас угнетёнными: уничтожение заработной платы, товаров, ролей, иерархии. Капитализм не создал условий для своего преодоления в коммунизм (пресловутый буржуа, кующий оружие для своего собственного уничтожения), но сотворил мир тошнотворных ужасов.

Угнетённые не имеют ничего для своего самоуправления, только своё отрицание как таковое. Всё, что нужно — это чтобы их боссы, лидеры и «защитники», прячущиеся под разными масками, исчезли вместе с ними. Именно в этой громадной задаче неотложного разрушения мы и должны обрести нашу радость — немедленно, сейчас же.

Для греков понятие «варвары» относилось не только к чужеземцам, но и к «косноязычным», то есть к тем, кто неправильно или неумело говорил на языке полиса. Язык и территория неразделимы. Закон фиксирует границы, усиленные порядком Имён. И потому любая структура власти имеет своих варваров, любой демократический дискурс — своих косноязычных. Товарное общество хочет очиститься от их упрямого и неприличного присутствия — путём изгнания или умолчания, будто они — ничто. Именно на этом ничто восстание обретает свою основу. Ни одна идеология диалога и участия не может замаскировать наличие исключённых, их внутренние колонии. Когда ежедневное насилие государства и экономики заставляет зло взорваться, бессмысленно удивляться, что кто-то ставит ногу на стол и отказывается от дискуссии. Лишь в этом случае страсти имеют шанс избавиться от вечной опеки смерти. Варвары, варвары. . . Они — за ближайшим углом, в соседней руине.

IV.

Мы должны отказаться от всех моделей и заново изучить наши возможности.

— Эдгар По

Необходимость восстания. Не в смысле неизбежности (событие, которое должно состояться рано или поздно), но в смысле конкретной возможности. То есть: необходимость возможного. Деньги необходимы в этом обществе. И всё-таки жизнь без денег возможна. Чтобы пережить эту возможность, необходимо разрушить это общество. Сегодня, однако, переживается лишь то, что социально необходимо власти.

Любопытно, что те, кто считает восстание трагической ошибкой (или нереализуемой романтической мечтой), много болтают о социальном действии и территориях, освобождённых для экспериментации. При этом стоит чуть-чуть сжать подобные аргументы — и весь сок вытечет из них вон. Как мы сказали, чтобы действовать свободно, необходимо иметь возможность говорить друг с другом без посредников. Однако о чём, сколько и где можем мы подлинно говорить в настоящее время?

Чтобы дискутировать свободно, нужно вырвать время и пространство из социальных тисков. Кроме всего прочего, диалог неотделим от борьбы. Он неотторжим от неё материально (чтобы говорить друг с другом, необходимо отвоевать пространство и время у боссов) и психологически (индивиды хотят говорить о том, что их более всего занимает, ибо только такие речи могут изменить реальность).

Мы забываем, что живём в гетто, даже если не платим за квартиру и каждый наш день — воскресенье. И если мы не в состоянии разрушить это гетто, свобода эксперимента будет жалкой безделушкой, не более.

Многие полагают, что социальные изменения могут и должны произойти постепенно, без внезапного взлома. По этой причине они говорят о зонах, свободных от государства, где можно разрабатывать новые идеи и практики. Оставляя в стороне явно комические аспекты этого вопроса (где нет государства? как его вставить в «скобки?»), стоит заметить, что главной точкой референции здесь является самоорганизованный федералистский метод, пережитый подрывными элементами в конкретные моменты истории (Парижская коммуна, революционная Испания, Будапешт 1956 года, и т. п.). Упускается как раз то, что возможность говорить друг с другом и изменённая реальность были завоёваны восставшими с оружием в руках. Короче говоря, упускается маленькая деталь: восстание. Иными словами, нельзя отделять метод (встречи и беседы соседей, горизонтальные связи, прямые решения и т. д.) от общего революционного контекста, который сделал его возможным. Например, прежде, чем рассуждать о том, что означали рабочие советы (и что они могут означать

сегодня), необходимо рассмотреть условия, в которых они существовали (1905 год в России, 1918-21 в Германии и Италии, и т. д.). Это были времена восстаний. Пусть нам объяснят, как угнетённые могли бы сами решать насущные вопросы без взрыва социальной нормальности? Только в этом случае и возможно говорить о самоорганизации и федерализме. До того, как обсуждать, что означает «самоуправление» нынешних структур производства, необходимо понять одну вещь: ни боссы, ни полиция не согласятся с самоуправлением. Нельзя обсуждать возможность, опуская условия, необходимые для реализации этой возможности. Любая идея свободы, «самоуправления» и открытого диалога требует насильственного разрыва с существующей реальностью.

Рассмотрим последний пример. Прямая демократия часто обсуждается в либертарных кругах. Можно возразить, что анархистская утопия противостоит методу вынесения решений большинством. Верно. Но проблема заключается в том, что никто не говорит о прямой демократии *в реальных терминах*. Оставив в стороне тех, кто явно перевирает это понятие, толкуя прямую демократию как конституцию гражданских списков, давайте присмотримся к тем, кто связывает ее радикально-демократическую практику с действительными ассамблеями граждан, где люди говорят друг с другом без вмешательства посредников. Что могли бы выразить эти так называемые граждане? Как они могли бы беседовать, не изменив условий говорения? Какой авторитет научил бы их различать между так называемой политической свободой и нынешним экономическим и технологическим принуждением? Да: как ни переворачивай вещи, а проблему разрушения обойти невозможно, если ты, конечно, не думаешь, что технологически централизованное общество может в то же время быть федералистским, или что общее самоуправление может осуществляться в тюрьмах, которыми стали современные города. Сказать, что изменения должны произойти постепенно? Это лишь окончательно запутает дело. Изменения не могут даже *начаться* без широкомасштабного бунта. Восстание — это когда целокупность социальных отношений открывается для приключения свободы, когда маска капиталистической специализации оказывается сорвана дерзкой рукой непослушания. При этом восстание не приносит немедленные ответы. Оно только начинает задавать вопросы. Таким образом, проблема не в том, действуешь ли ты постепенно или спонтанно. Проблема в том, действуешь ли ты или только грезишь о действии.

Критика прямой демократии (если взять тот же пример) должна быть конкретной. Только тогда возможно выйти *по ту сторону* и помыслить, что социальные основания индивидуальной автономии действительно существуют. И только тогда открывается, что *переход по ту сторону* является методом борьбы, здесь и сейчас. Революционеры должны критиковать идеи своих оппонентов и дефинировать их более точно, чем приверженцы этих идей.

Необходимо заточить свои ножи — до предельной остроты.

V.

Это аксиоматичная, самоочевидная истина: революция не может произойти, пока для неё нет достаточных сил. Но это историческая правда: нельзя просчитать силы, определяющие социальную революцию, с помощью переписи населения.

— Малатеста

Сегодня не очень-то модно думать, что социальная трансформация возможна. Считается, что «массы» — в глубоком забытии, а также в полном согласии с социальными нормами. Кое-кто говорит, что восстание — удел одних лишь маргинальных групп. Подобные умонастроения выливаются либо в открыто институциональный дискурс (необходимость выборов, легальные завоевания и т. д.), либо в реформистские практики (профсоюзная организация, борьба за коллективные права и т. д.). Помимо этого раздаются голоса в защиту классического авангардного дискурса или в пользу антиавторитарной перманентной агитации.

При внимательном взгляде на все эти тенденции становится ясно, что идеи, которые якобы противостояли друг другу в исторических битвах, на самом деле имели одни и те же корни.

Возьмём, например, социал-демократию и большевизм: оба движения исходили из предположения, что массы не обладают революционным сознанием и поэтому ими нужно руководить. И те, и другие (реформистская партия или революционная партия, парламентская стратегия или насильственное завоевание власти) отличались лишь использованием метода в идентичной программе прививки сознания эксплуатируемым массам извне.

А теперь давайте рассмотрим гипотезу «миноритарной» подрывной практики, которая противостоит ленинистской модели. Тут есть два основных варианта: либертарии либо отказываются от революционного дискурса (в пользу индивидуалистического бунта), либо рано или поздно приходят к необходимости включения своих идей и практик в более широкий социальный контекст. Если мы не хотим решить эту проблему с помощью лингвистических чудес (например, заявив, что тезис, который мы поддерживаем, уже находится в головах угнетённых или что наше восстание уже стало частью более широкого явления), то нам остаётся как факт: да, мы изолированы, но это ещё не означает, что нас мало.

Действия в маленькой группе вовсе не умаляют революционный проект, наоборот — они создают совершенно исключительные условия для социального подрыва. Либертарии — единственные индивиды, анализирующие возможность коллективного бытия, не подчинённого никакому централизованному управлению. Аутентичный федерализм создаёт основу для соглашения между свободными союзами индивидов. Отношения близости не формируются на

базе идеологии или под давлением большинства, но определяются взаимным узнаванием, чувствованием и переживанием проективных страстей. При этом проективная близость и автономное индивидуальное действие — мёртвые буквы, если они становятся жертвами, приносимыми во имя некой абстрактной необходимости. Нет, та горизонтальная близость, о которой мы говорим, *клетизирует* практику освобождения, и поэтому она — неформальная связь, явление без репрезентации.

Централизованное общество не может существовать без полицейского контроля и смертоносного технологического аппарата. Люди, не способные вообразить сообщество без государственного управления, попросту лишены инструментов, с помощью которых можно критиковать (и разрушать) экономику, насилюющую планету. Если вы не можете представить себе вольное сообщество уникальных индивидуальностей, вы — раб, участвующий в строительстве чудовищной пирамиды политического манипулирования. И наоборот, создание групп близости (как основы новых отношений), союза людей, стремящихся к осуществлению эмансипаторского проекта, делает восстание реальным и возможным. Только отказавшись от идеи *центра* (штурм Зимнего дворца или, говоря современным языком, Государственного Телевидения), можно представить себе жизнь без денег и муштры. Но чтобы завоевать эту жизнь, нужно атаковать, то есть действовать, когда все советуют ждать, когда невозможно предсказать последствия действия, когда результат никоим образом не обеспечен. Только атака гарантирует *общество без разделения*. В то же время она уничтожает ложь *переходного периода* (диктатура как подступ к коммунизму, частичная власть до полной свободы, заработная плата как переход к свободному владению всем, «этичные банки» перед анархией). Восстание само по себе оказывается путём создания новых отношений. Атаковать здесь и сейчас технократическую гидру означает моментально реализовать жизнь без полицейских в смокингах, то есть без элиты и спектакля, без науки и экономики, — безраздельную жизнь. Ну а тот, кто причитает, что «ещё не время» или «уже не время» — попросту показывает, что он принадлежит порядку консенсуса и конформизма.

Подчёркивать необходимость безотлагательного социального восстания — это то же, что сказать: мы не хотим лидеров, мы не верим в вожаков, мы против профессиональных стратегов революции.

И ещё: отказ от централизации и принятие гипотезы малых групп преодолевает идеологию количественного собирания массы угнетённых для фронтального столкновения с властью. Необходимо помыслить о другом концепте силы: ударить по «культуре», сжечь все переписи населения, все канцелярии, и нападать везде и всюду, до полного крушения власти.

Как советовала московская листовка в декабре 1905 года: «Главное правило: не действуйте в массе. Атакуйте втроем или вчетвером, но со знанием дела. Врагу не одолеть множество небольших боевых ячеек, каждая из кото-

рых понимает, как нападать и исчезать мгновенно. Охранка может раздавить тысячную демонстрацию с помощью сотни казаков. Проще уничтожить толпу, чем маленькую группу, которая наносит удар стремительно и растворяется в тумане. Жандармы и армия будут бессильны, если мы наполним город рабочими ячейками, действующими неожиданно и яростно. Обходите стороной площади и проспекты, не атакуйте укрепленные цитадели. Войска смогут быстро отвоевать их или просто разрушить своей артиллерией. Нашими оплотами должны стать внутренние дворы и переулки, откуда удобно атаковать шпиков и конных. Бросайте бомбы и скрывайтесь. Если враг будет искать вас, он не найдёт никого и потеряет своих людей. Казаки не могут прочесать все дома, все подвалы, все чердаки. Скрывайтесь и атакуйте!»

VI.

Поэзия обращается к воображению, которое ради собственного наслаждения творит богохульства и беззакония, ниспровергая порядок. . .

— Фрэнсис Бэкон

Задумаемся о новом концепте силы. Быть может, это — неизвестная поэзия? В сущности, что есть социальное восстание, если не игра богохульства и беззакония? Игра, которая творит иной мир, ниспровергая порядок.

Революционная сила отнюдь не сводится к силе власти. Если бы дело обстояло так, мы проиграли бы ещё до начала сражения, поскольку любое изменение стало бы вечным возвращением к старому. Восстание было бы редуцировано на военный конфликт, сведено к унылому набору стандартов. К счастью, подлинное освобождение отказывается от количественного глянца и требует переворота во всём — в воображении, в концептах, в действии.

Государство и Капитал обладают невероятно изощрённой системой подавления и контроля. Как противостоять этому Молоху? Секрет кроется в искусстве разъединения (и соединения вновь). Движение ума — продолжающаяся игра разрыва и восстановления связи. То же касается подрывных практик. Критиковать (и разрушать) технологии, например, — это не элементарный акт отрицания новейших информационных сетей. Скорее, это означает держать под прицелом всю рамку власти и угнетения, стремясь поразить не только конкретную технологическую мишень, но и нанести урон общим социальным отношениям (системе). Иными словами, критиковать технологии — это осознать, что компьютеры, цифровые камеры и мобильные телефоны отражают общество, которое их производит, и что их распространение изменяет отношения между индивидами. Таким образом, атаковать технологии — это активно противостоять проекту власти, которая задалась целью создать абсолютно подконтрольного и манипулируемого человека. В противном же случае, когда

мы заявляем, что технологии нейтральны и даже обогащают наше восприятие мира, процесс одурачивания налицо. Саботировать, атаковать! Технологии — так же, как школы, полицейские участки, казармы, офисы, музеи. . . Всё это — часть общих меркантильных и иерархических отношений, и в то же время каждая из этих институций конкретизирует особые формы подчинения и эксплуатации — в своих специфических фигурах и социальных инсталляциях.

Как же — если нас, атакующих, так мало — можем мы сделать себя *заметными* для студентов, рабочих, безработных? Если рассуждать в понятиях консенсуса и имиджа, то, разумеется, профсоюзы, медиальные паяцы и хитрые политиканы гораздо сильнее нас. Но опять-таки: необходимо связывать и развязывать вещи. Реформизм действует частично, *количественно*: он мобилизует массы людей во имя изменения отдельных аспектов власти. Тотальная критика общества, с другой стороны, позволяет проявиться *качественному* пониманию действия. Именно потому, что центров или революционных субъектов, которым нужно подчинять свой проект, нет, каждый участок социальной реальности (угнетения) становится важным и требует конфликта и атаки. Идёт ли речь о загрязнении окружающей среды или культуре, тюрьмах или урбанизме — всякий подлинно подрывной дискурс кончает тем, что ставит под вопрос *всё*. Сегодня более, чем когда-либо, количественный проект (объединение студентов, безработных или рабочих в постоянную организацию со специфической программой) несостоятелен, ибо он лишает индивидов силы задавать вопросы, которые не сводятся к разделению людей в разные социальные категории (студенты, иммигранты, рабочие, гомосексуалисты, женщины). Более того, реформизм всё менее способен на реформы (подумайте о безработице и о том, как она лицемерно представляется небольшой поломкой в экономической рациональности). Кто-то сказал, что даже требование нетоксичной еды стало революционным проектом, поскольку любая попытка удовлетворить это требование подразумевает изменение всех социальных отношений. Любой конвенциональный протест, направленный против конкретной институции или лица, содержит в себе отчаянную неполноценность, ибо ни один авторитет или инстанция не могут решить проблему общего значения. К кому обратиться по поводу загрязнения воздуха?

Нужно разрушить *всё*.

Рабочие, выбравшие во время стачки лозунг «Мы ничего не просим!», понимают, что частичные требования — фальшь. Не существует иной возможности, кроме захвата всего. Как писал Штирнер: «Не важно, сколько ты им даёшь, они всегда попросят ещё, ведь то, чего они хотят — это твоя полная капитуляция».

Подчас социальные битвы за отдельные права развивают более интересные методы, нежели цели. Например, группа безработных, требующая работу, кончает тем, что поджигает офис по трудоустройству. Конечно, можно остаться в стороне, попросту сказав, что не следует просить работу, но следует её уничтожить. Однако группа решительных товарищей в этой ситуации будет

действовать иначе. Как? Стараться расширить сферу действия! В ход должно пойти всё — от листовок и графити до новых поджогов. Но прежде всего — весёлый и незаконный ум.

Концепт Сореля, согласно которому всеобщая стачка есть необходимая раскочка восстания — миф. Тем не менее ясно, что остановка социальной активности для развития революционного действия исключительно важна. Подрывная группа должна стремиться парализовать нормальность — независимо от того, что вызвало первичное столкновение. Пока студенты продолжают учиться, рабочие — работать, служащие — обслуживать, а безработные — пещься о пособиях, — подлинное изменение невозможно. Революционная практика в таком случае остаётся *над* людьми. Любая организация, отделённая от непосредственной социальной борьбы, не способна вызвать восстание или расширить его. Организационная структура, сформированная эксплуатируемыми и революционерами, дееспособна только тогда, когда она находится в соответствии с временной природой специфической борьбы, имеет ясную цель и пребывает в атаке. Одним словом, когда это критика в действии — критика боссов, профсоюзов, партий и любых других авторитарных структур.

Революционные группы имеют сегодня лишь ограниченную возможность развивать социальную борьбу — антивоенную, антикорпоративную, против загрязнения окружающей среды, и т. п. Таким образом, для тех, кто не терпит угнетение и не думает, что люди «устали», остаётся одно — честное включение в акты восстания, возникающие здесь и там спонтанно. Создание этих актов! Если мы ищем «чёткое выражение того типа общества, за которое сражаются угнетённые» (как выразился один кабинетный теоретик, столкнувшись с новой волной стачек), мы можем оставаться дома. Если мы ограничиваемся «критической поддержкой» протеста, то всего лишь добавляем наши чёрные и красные флаги к полотнищам партий и профсоюзов. Если мы полагаем, что, когда безработные говорят о праве на работу, мы должны делать то же самое, то единственным местом действия для нас становится площадь, заполненная оболваненными демонстрантами. Как знал ещё Бодлер, *репрезентация* — удел зловонных разлагающихся лошадей.

Но кто сказал, что это немыслимо: говорить с прохожими о поэзии саботажа, об уничтожении всех вывесок на городских стенах, о бунте в дискотеке, о забрасывании тухлыми яйцами приезжей знаменитости, о разрушении видеокамер слежения, о стратегии скандала, о превращении публичной лекции в атаку на пассивную публику? Кто сказал, что невозможно всё это практиковать? Кто сказал, что когда рабочие выходят на стачку, нельзя разрушать экономику *в других местах*?

Рабочие — вот настоящие дохлые лошади.

Говорить и делать то, чего враг не ожидает, и находиться там, куда он нас не приглашал — вот что такое новая поэзия.

VII.

Мы слишком молоды, мы не можем больше ждать.

— Стена в Париже

Сила восстания — социальная, а не военная сила. Восстание не определяется вооружённым столкновением, но тем, насколько парализована экономика. Восстание реализуется в захвате мест производства и дистрибуции, в их уничтожении, в торжестве свободного дара, который сжигает всякий расчёт, в отказе от обязанностей и социальных ролей. Одним словом, восстание — переворот всего. Ни одна партизанская группа, ни одна революционная организация, как бы она ни была эффективна, не может сравниться с восстанием. Почему? Потому что лишь восстание являет грандиозную очевидность: никакая власть не может поддерживать себя без добровольного служения тех, кому она навязывает свою волю. Бунт разъясняет: угнетённые сами поддерживали убийственную машинерию эксплуатации. А теперь довольно! Взрыв социальной ярости срывает покрывало идеологии, обнажая реальный баланс сил. Государство показывается в своём истинном виде: политическая организация пассивности. Восстание, в свою очередь, демонстрирует потенциал коллективного действия. На одной чаше весов — идеология, на другой — воображение: последнее побеждает. Угнетённые открывают силу, которой они всегда обладали. Иллюзия, согласно которой общество само воспроизводит себя, исчезает. Люди поднимаются против своих конформистских привычек. Восстание — единственный случай, когда «коллективность» перестаёт быть мифом, скрывающим индивидуальную немощь. Что такое капитал, если не сообщество доносчиков, союз, ослабляющий индивидуальную волю, общность, разделяющая людей? «Социальная совесть» — внутренний голос, нашептывающий: «Другие ведь соглашаются. . .» Так реальная сила эксплуатируемых медленно умирает. Восстание — процесс, освобождающий эту силу, а заодно — радость и риск автономного бытия. Восстание оказывается тем моментом, когда мы коллективно осознаём: лучшее, что мы можем сделать для других — освободить себя. В этом смысле революция — коллективное движение индивидуальной реализации.

Нормальность работы и «свободного времени», семья и конsumerизм убивают злую страсть к свободе. Изменение невозможно без насильственного разрыва с привычками подчинения. Но восстание — всегда дело меньшинства. «Массы» готовы стать инструментами власти или принять изменение по инерции. Для бунтующего раба власть — это приказы боссов (капиталистических или революционных). Самая большая самоорганизованная стачка в истории — май 1968 — включала лишь одну пятую часть населения страны.

Из этого, однако, не следует, что цель восстания — захватить власть, дабы направить массы. Рабское, пассивное отношение не может исчезнуть за несколь-

ко дней. Но то, что противостоит пассивности, должно завоевать себе место и создать *свое собственное время*. Восстание — необходимое условие для этого.

При этом презрение к «массам» не революционно, а идеологично, то есть служит господствующему представлению. «Народ капитала» безусловно существует, но не имеет чёткой «формы» и территории. Говорить, что мы — единственные бунтовщики в море покорности — контрреволюционно, ибо кладёт конец игре ещё до её начала. Мы можем лишь утверждать, что не знаем, кто наши сообщники, и что нам нужна социальная буря, чтобы обнаружить их. Сегодня возможно полагаться только на самых близких товарищей, но во время восстания круг друзей стремительно расширяется — и он должен быть защищен оружием, ведь на трупе восстания восходит реакция. Однако чем грандиознее бунт, тем менее приложимы к нему категории военного противостояния.

Если говорить об оружии, то самое полезное — это как можно скорее сделать его бесполезным. Но эта проблема остаётся абстрактной до тех пор, пока речь не заходит о конкретных отношениях между революционерами и эксплуатируемыми. Слишком часто революционеры утверждали, что они являются сознанием угнетённых и знают, как действовать лучше самих угнетённых. Так революция превращается в партийный бизнес (в ленинистской версии — задачу профессионалов революции). Освободительное движение отождествляется со своим «самым передовым» отрядом, который затем захватывает власть и становится новым хозяином.

Существует, впрочем, и другая «революционная крайность». Под предлогом своей «неотделимости» от социального движения, пребывающего в пассивности, индивиды начинают отрицать саму практику атаки, называя её «старомодной вооружённой пропагандой». Так всё кончается «радикальной критикой» и «революционной ясностью». Жизнь ничтожна, всё, что остаётся — теория. В этом случае «революционер» приносит жертву пролетариату уже не своим «профессиональным действием», но своей «профессиональной пассивностью». Ещё одна ложь и самообман.

Капитал отравляет нас и направляет на фальшивые пути. Он лишает нас страстного отношения к жизни и навязывает собственные интересы (деньги, успех, болтовню, технологии). Мы стареем среди замороченных или пресыщенных мужчин и женщин, без идей и смеха, ярости и смелости, без вспышек хохота и благородства.

Наши жизни не принадлежат нам, и любое серьёзное рассуждение, избегающее этой констатации — срам. Но чтобы вернуть себе собственные жизни, нам необходимо многое, нам необходимо *всё*. В первую очередь бунт, что значит: мысли и книги, ум и смех, проклятья и пинки, огонь и дружба, любовь и оружие, отчаяние и одиночество, решимость и атака. Единственно важный вопрос: как соединить всё это, чтобы жизнь заиграла.

VIII.

Самое простое — подстрелить птицу, летящую по прямой линии.

— Бальтасар Грасиан

Мы хотим изменить свою жизнь немедленно. Это и есть критерий, по которому мы выбираем друзей и сообщников. То же касается *требования последовательности*. Нами движет воля жить согласно нашим идеям, а также желание создать теорию, исходящую исключительно из нашей жизни. Это означает отказ от любой идеологии, включая идеологию желания.

Мы отделяем себя от тех, кто следует готовым рецептам и установленным правилам, пусть даже «критическим». Никаких ролей, никаких икон, никаких перемирий с существующим. Все дула, все лезвия — против идеологии!

Индивид с любовью к бунту и персональными требованиями к классовому столкновению хочет действовать в любой ситуации, здесь и сейчас. Если он прибегает к анализу современных государства и капитала, то именно для того, чтобы атаковать их, а не для того, чтобы залить свой анализ чаем. В противоположность писателю или солдату, для которых писательство и война — профессиональное и запрограммированное занятие, ручка и револьвер для нас — орудия в нужном месте, в нужное время.

Восстание — нечто гораздо большее, чем «вооружённая борьба». В момент восстания общее нарушение «порядка», разрушение нормы, выход по ту сторону любой программы важнее военных стратегий. Старый мир оказывается перевернут в той мере, в какой все бунтующие так или иначе вооружены. Тогда оружие перестаёт быть выражением «авангарда», монополией специалистов и профессионалов. Оно становится конкретным фактором революционного праздника — коллективным условием расширения и защиты социальной трансформации. В этом случае мы оказываемся свидетелями чудесной «конспирации уникальных эго» — союза людей, объединённых волей жить в мире без боссов и рабов. В обществе свободных и неуправляемых индивидов.

IX.

Не спрашивай о формуле, которая откроет тебе будущие миры, как штопор открывает бутылку. Сегодня мы можем сказать лишь, кем мы не являемся и чего мы не хотим.

— Эудженио Монтале

Жизнь не может быть чем-то, за что можно попросту ухватиться. Мысль эта всем приходила в голову хотя бы раз. У нас есть выбор, делающий нас свободнее богов: *покончить разом*. Эту идею стоит просмаковать до конца. Никто и

ничто не заставляет нас жить, даже смерть. По этой причине наша жизнь — *tabula rasa* — доска, на которой ничего не написано и на которой может быть написано всё. С такой свободой невозможно жить по-рабски. Рабство придумано для тех, кто осуждён жить, кто приговорён к вечности — и примирился с этим смрадным приговором. Мы не таковы. Для нас существует неизвестное: неоткрытые миры, непродуманные мысли, рискованные начинания, путешествия без всяких гарантий, приключения с непредсказуемым концом, чужаки, которым мы можем вручить нашу жизнь. Одним словом, неизвестное целого мира, где чрезмерная привязанность к существованию — лишний и ненужный груз. Риск прекрасен. В первую очередь — риск взглянуть *mal de vivre* в глаза. Как чудесно положить конец постылой и унижительной работе жизни!

Но наши современники живут работой, отчаянно жонглируя тысячей обязанностей, включая самую печальную из них — обязанность чувствовать себя хорошо. Они прячут от себя собственную хроническую неспособность овладеть своей жизнью, прячут за множеством лихорадочных действий, совершаемых со всё увеличивающейся скоростью. Они и думать не думают о яростном свете отрицания.

И всё же не жить — очевидный выбор. Он, кстати, и открывает нам возможность жизни, исполненной радости. «Всегда можно положить конец вещам; но можно также играть и бунтовать» — говорит нам материализм радости.

Перед нами вечно маячит гнусная возможность бездействия — и это самая прекрасная причина для действия. Мы беременны всеми действиями, на которые способны решиться. Никакой босс не может лишить нас наслаждения сказать «нет». То, что мы есть, и то, чего мы хотим, начинается с «нет». И это — прекраснейший повод, чтобы проснуться и начать новый день. Чтобы атаковать тот порядок, который нас душит.

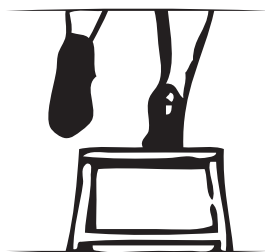
С одной стороны, есть существующее со своими привычками и ценностями, со своей уверенностью в себе. От этого социального яда подкашиваются ноги и немеет язык. Он смертоносен.

С другой стороны, есть восстание — неизвестное, рискованное, врывающееся в мир и опрокидывающее вещи. Оно — единственное начало бесконечной практики жизни и свободы.

Библиотека Анархизма

Антикопирайт

21 мая 2012



Аноним

На ножах со всем существующим, его защитниками и ложными критиками
1998

Перевод А. Бренера и Б. Шурц

Опубликовано в сборнике «На ножах со всем
существующим», Умопомрачительный самиздат, Рига, 2006
Сохранено 9 сентября 2011г. из a-read.narod.ru